

Наталья Явлюхина

Точка невозврата

Рассказы

Октани

Первое сообщение от Октани мы получили ранним вечером тринадцатого мая. После ужина тетя с бабушкой отправились прогуляться под ручку до околицы и обратно по смутно-белой, как дневное сновидение, брошенной в пасмурные поля дороге — предполагалось, что в их отсутствие мы приберемся на кухне, а затем, вооружившись ковшом и коричневым бруском хозяйственного мыла размером с коровье сердце, вымоем, переругиваясь, ноги в страдающем ливедо овальном оцинкованном тазу.

«Помогите. Мы слишком долго летим. Помогите, я хочу писать», — выплыло из чесучового сумрака под вишнями. Мы с братом прочитали это одновременно и отложили хозяйственное мыло — от контакта с водой оно выпустило млечный одуванчиковый сок, в который тут же влипла муха — подальше, на доски за занавеску.

— Детский голос, — сказал брат. — Лет семь-восемь. Девочка.

А нам было двенадцать и четырнадцать, чем мы могли ей помочь? Но я вспомнила какой-то фильм, где сотрудница горячей линии для самоубийц разубеждала впавшего в интригующую задумчивость абонента вешаться на дверном крючке и говорю: «Успокойся и назови свое имя и возраст». В двенадцать меня вообще ничего не волновало, разве что вероятность загреметь в музыкальную школу или летний лагерь, и если где-то мучают кошку. Сейчас я бы так не смогла.

— Мне семь... или восемь, не знаю. Меня зовут Октани.

— Октавия? — заорал прямо в вишни брат, он явно этот фильм не смотрел.

— Октани, — поправила девочка и заплакала. И связь оборвалась.

В следующий раз Октани появилась через два дня, в то же самое время. Пока ее не было, я залезла в янтарный с черными подтеками румынский сервант, в глубине которого черемуховая пена оседала на сизых, как вареное яйцо на просвет, округлостях фарфора и стопках дедушкиных книг, и поискала в этих книгах что-нибудь о поведении детей в экстремальных ситуациях (если она использует напитанную водой многоярусную темноту сада в качестве проводника; если перед ее словами расступается замшевый

Наталья Явлюхина родилась в 1986 году в Подольске, окончила Литинститут им.А.М.Горького, печатала рецензии в «Знамени» и «Номо Legens». Живет в Москве.

В «Дружбе народов» ее первая публикация прозы.

шепоток мая, выдавшегося холодным, как хорошая месть, она определенно в экстремальной ситуации). Выготский, Гофман, Снежневский, Лурье — не нашлось ничего подходящего, кроме, может быть, книжки Эльконина «Творческие ролевые игры детей дошкольного возраста» с карандашным рисунком на обложке и бурными вспученными страницами, чередующимися с другими, ломкими, как надкрылья мертвого насекомого, совершенно в целом непригодной для чтения.

Задвинув книги обратно в фотографии, тарелки и дребезжащее отражение черемухи, я вернулась к своему любимому занятию — бюрократическому конспектированию помещенного под солнечный луч с гипнагогически четкими пылинками фолианта, полного торжественно-строгих, то и дело срывающихся в курсив наблюдений за повадками русской псовой борзой, страшной многозначительно изогнутой собаки с узкой и длинной, как смычок, мордой. Я помню, что тяжело, едко и сладко — соснами на солнце — пах малахитовый том с золотым рельефным тиснением, и то знакомое только очень счастливым детям и очень несчастным взрослым оцепенение, в котором лежащий на животе человек исписывает многочисленные тетради в шершавых, как изнанка лопуха, обложках. Конечно, эта неподвижно распахнутая, напоминавшая пригвожденную бабочку книга о русской борзой, содержащая, в общем-то, техническое описание тайны, не входила в план домашнего обучения, но благодаря тем солнечным сессиям ненужного чтения я легко распознаю и другие, смежные с той, книги по детской охотничьей ловкости, с которой выворачиваешься наизнанку, чтобы взять их в руки.

Итак, пятнадцатого мая мы сидели на лавке под кухонным окном, опустив ноги в таз с крапивной изломанной водой, и с сонной ненавистью разглядывали одуванчики в вечерней траве — вульгарно-желтый, чересчур прямолинейный цветок, презрение к которому было одной из немногих вещей, в которых мы с братом всегда сходились. «Помогите. Здесь есть кто-нибудь?» — прошептала Октани.

Октани, Октани, Октани. Уже следующим летом, проходя под окнами кухни в сторону туалетного домика, я буду вспоминать тебя с нерешительной тоской, через два года, когда мы похороним бабушку — с укрепившимся недоверием, через три — наконец, почти о тебе забуду. Я остановлюсь, вытащу наушник из левого уха и внимательнее посмотрю на разрыхленные грозой одуванчики, что-то припоминая, но ничего особенного не припомню и продолжу свой путь по вымощенной кратерным лунным камнем дорожке. Эти наплывы пощипывающего чувства, эпизоды незавершенного узнавания, от которых слабеют ноги и коченеет живот, будут случаться все реже и реже и постепенно сойдут на нет, и я понимаю это заранее, прямо сейчас это понимаю, когда говорю тебе: «Октани, что случилось? Расскажи, что случилось».

— Я не знаю, я не знаю. Просто мы уже очень долго летим.

— Где летите? Вы — это кто?

— Я не знаю. Я потеряла своего хамелеона.

— Она хоть что-нибудь знает? — спросил брат, у которого с эмпатией было совсем плохо. Неясно, услышала это Октани или нет, но следующая ее фраза содержала больше конкретики:

— Тетя в желтой куртке, нарисованная тетя. У нее оранжевые волосы и синее платье.

— А где эта тетя нарисована, Октани?

— Впереди, но я не могу вытащить. Я не могу ее вытащить. Там сетка.

— Октани, ты в самолете?

— Да, да, нет-нет-нет-нет-нет-нет.

— Если ты lupишь ногами по переднему креслу, немедленно перестань, — сказал брат и сделал мне знак, чтобы мы отошли к забору, где лает скучающая соседская

овчарка и громко зреет слива. Мы отходим, и я вежливо интересуюсь у брата, в чем проблема.

— Газеты надо читать. В отличие от тебя, я сразу понял, что «мы летим» — это про самолет. Далее я иду на почту и, в общем, да, одиннадцатого мая следовавший в Сидней «Боинг» отключил транспондеры и исчез с экранов, и до сих пор не объявился. Это во всех новостях.

— Так она из этого «Боинга»?

— Сейчас пятнадцатое мая. Если это угон, они давно сели и она бы не ныла, что надоело лететь. Если это не угон, «Боинг» выработал топливо и упал в океан на рассвете одиннадцатого мая, через восемь часов после взлета. Самолет не может лететь вечно и, кстати, умственно отсталых девочек с несуществующими именами нет в опубликованном списке пассажиров. Тебя просто троллят.

— Кто?

— Какой-нибудь нажравшийся пиццы мужик.

— С детским голосом?

— Ну пранкеры могут подделывать голоса. Предлагаю потроллить его в ответ.

— Покажи газету.

В разворотной статье, снабженной плохо пропечатанными картами и цветной фотографией «Боинга» с изрисованным васильковой сажистой пастой фюзеляжем, к которому прилипли гофрированный лепесток вишни и салатовая гусеница, говорилось, что прекрасно себя зарекомендовавший дальнемагистральный лайнер вылетел в первых минутах одиннадцатого мая, набрал эшелон и, пожелав авиадиспетчеру спокойной ночи, перестал выходить на связь. По всей видимости, рассуждал автор, он целенаправленно сошел с маршрута в «слепую зону», которую не читают даже военные радары — в комковатый фиалковый мрак над Индийским океаном, в нагретую электрическую тишину, какая бывает в человеческих кошмарах и на верхних этажах горящих торговых центров, — и направился в самый дальний угол этой тишины, в точку максимального сгущения типографской краски, туда, где остриженный висок разбедает струйка пота и приборную панель — дремотный алый свет, дымится кофе в стаканчике и затопляет кабину, в которой никогда уже не проснется второй пилот. Предположительно, семь часов он сосредоточенно двигался к этой точке, не реагируя на звонки и письма с земли («немедленно объяснитесь» или что-то такое), а когда поочередно, с разницей в несколько минут, отказали двигатели в фарфоровых сизых на просвет обтекателях, спикировал в океан так, что на ветреной синей воде не осталось ни одного обломка, то есть в прямом смысле слова бесследно исчез. Вертикальное пикирование, хотя автор подчеркивает, что это только версия.

— То есть падения не было? — говорю я, откидывая проволочную застежку на пронзенной орешником калитке, чтобы тетя с бабушкой вкатились в сад, не сбавляя темпа.

— Было, не могло не быть.

— Но нет никаких следов, ничего?

— Дело времени.

— Сколько весит самолет?

— Двести пятьдесят тонн.

— Сколько стран его ищут?

— Десять. Если он действительно вошел под прямым углом, от него могло ничего не отломиться.

— Почему они уверены в том, что он покинул «слепую зону»?

— Тебе именно это кажется странным? А не то, каким способом она общается?

— Способ не кажется странным и тебе. Она в слепой зоне, а слепая зона проступает пятнами по всему миру, где-то более интенсивно, где-то менее; в нашем

почти очищенном от ужаса случае — это островки сажистой темноты под вишнями, где по вечерам и звучит ее голос.

— Ладно, это и правда было очевидно, — сказал брат.

Родная кровь все-таки много значит.

Начался дождь, и мы пошли сидеть со взрослыми на неоновой голубой веранде и зачарованно смотреть в окно. Бабушка сделала нам бутерброды с шоколадным маслом, которое она, экономное дитя войны, наносила на подсыхшую крахмалистую мякоть нарезного батона исчезающе тонким слоем, таким тонким, что он впитывался в хлеб раньше, чем мы доносили кусок до рта. Я попыталась отследить, куда она прячет шоколадное масло, но бабушка предусмотрительно задернула брусничную в белый цветочек шторку, отделявшую веранду от кухни.

Хотя отец и отключил нам с братом интернет за то, что мы целыми днями читали про авиакатастрофы и слушали записи черных ящиков вместо изучения составляющих политическую историю монотонных зверств и выискивания в географическом атласе бликующих черных квадратиков, символизирующих залежи каменного угля, а тема самолетов была в семье под запретом, я все-таки спрашиваю тетю, раскладывающую на журчащей скатерти в льдистых грозовых узорах пасьянс, в котором снова и снова выпадают три семерки, известно ли ей что-нибудь о лайнере весом в двести пятьдесят тонн, идущем дни и ночи напролом по тишине того же рода, что прямо сейчас медленно наводняет сад.

Тетя, в отличие от отца не склонная драматизировать нашу заикленность на самолетах, говорит, что, конечно, слышала о пропавшем рейсе, и что ей очень жаль всех, особенно детей, но все-таки она считает, что мы вполне можем слетать в августе в Турцию, не боясь разбиться, потому что снаряд не падает в одну воронку дважды и потому что в общем и целом, как ей кажется, Господь любит самолеты. Когда она снова склоняется над пасьянсом, мы с братом переглядываемся. Она не знает о том, что Господь ненавидит пассажиров.

Ночью, когда все уже спят, я спускаюсь со второго этажа и, надев на крыльце отцовские охотничьи сапоги в окаменевших наростах глины, иду к измотанным грозой вишням. «Октани, — говорю я, — ты здесь?»

— Да, — отвечает Октани и, кажется, ударяет ногой по креслу впередисидящего пассажира.

— Вы все еще летите?

— Да.

— Скажите, зачем вы это делаете? У вас что-то случилось в жизни? Или вам просто кажется, что это смешно? Зачем вы выдумали эту девочку несчастную?

— А зачем ты выдумала брата? — говорит Октани и опять ударяет ногой.

— Чтобы было с кем разделить предательство.

— Я хочу к маме, — говорит Октани.

Я не слушаю ее. Я иду обратно к дому, чьи тесные выступления розовеют в мокрых сумерках, — светает над кружевными деревянными дачами в петухах и оврагах, — но возвращаюсь с полдороги.

— Октани, послушай меня. Ты можешь спросить у него одну вещь?

— Какую?

— Спроси, почему он не разбил самолет сразу? Почему вы должны лететь так долго?

— Он не отвечает, — говорит Октани после паузы, заполненной плотной текстурной тьмой.

Перед тем как заснуть и проспять в своей маленькой, пахнущей сливочным маслом и сосновой стружкой комнате до обеда, я думаю о том, что кем бы ни была Октани и как бы ни сложились наши судьбы, мы больше никогда не поговорим — это был последний сеанс связи. Еще я думаю о том, что самолет может лететь вечно.

Переезд

Зоя-1 и Зоя-2 (родители назвали их одинаково, словно старшая дочь была черновиком младшей, и умерли, так и не развеяв эти подозрения) жили в Утреннем слишком долго, чтобы продолжать тянуть с отъездом. С детства они держались подальше от своей судьбы, напоминая чересчур инициативного соседа, но низко гудящая, как июнь в саду, интенсивного типа дистанция сокращалась, и в день, когда Зоя-младшая написала в дневнике: «По-моему, мне уже все равно. Мой дербенник!», Зоя-старшая прочитала это и подумала: «Приехали». Надо было уезжать, пока среди этого розового, в кипрее и ящерицах, пристанционного кирпича и елово-желтых примул, растущих под грушами «Северянка» и просвеченных, как анемичная кожа, вагонеточной тенью холода, они окончательно не превратились в самих себя.

О том, чтобы «найти себя», «стать собой», мечтали все их ровесники, начиная от стриженного ежиком Дениса, который жил через дом в таком же похожем на осиное гнездо бледном заштукатуренном бараке в кошках и георгинах (по вечерам он приходил к Зоям пить кофе из цикория и с мучительным достоинством играть на тромбоне, отчего на его смуглых шелковых щеках выступали пунцовые пятна и хотелось вешаться), и заканчивая русоголовой Альдиной, певшей, рисовавшей, танцевавшей, сочинявшей стихи и за последний учебный год последовательно обвинившей в сексуальных домогательствах классного руководителя, физкультурника, соседа, обоих своих младших братьев, отца и приехавшего из райцентра психоаналитика. Психоаналитик записывал их беседы на диктофон и китайскую мини камеру, замаскированную под итальянскую запонку, и заявление на него стало единственным, которое Альдина никуда не отнесла. Вместо этого она завела страничку в интернете, где рассказывала о своей «борьбе с системой» и обещала не сдаваться и «пройти весь путь до конца», но быстро впуталась в какую-то историю с футболками и деньгами, и отец, потерявший, наконец, терпение, отправил ее к бывшей жене в Турцию, под Айвалык. Скоро он раскаялся, но было поздно: Альдина, к ужасу матери, с первых дней флиртовавшая с отчимом, писала липким от апельсинов и инжира капслоком, что нашла себя и отказывается возвращаться «в эту страну».

Да, все вокруг томились по воплощению, и только Зоя-1 и Зоя-2 знали, что воплощение — это аверс, а исчезновение — реверс монеты, и что они не хотят исчезать. Еще они знали, что электричка в город, расположенный уже в другой, холодной и чистой, как льняная наволочка в проветренной комнате, стране, ходит из Утреннего раз в день, в шесть утра, и что скоро рабочие в комбинезонах цвета календулы, освещенной ночным фонарем, начнут пересобирать суконно-зеленое от дождей железнодорожное полотно, и этот маршрут навсегда отменят. Рукописные объявления, в которых желающим пересечь границу советовали поторопиться, с лета висели на дверях подъездов, на остановках, на ноздреватых, как мартовский снег, столбах, ангелических мачтах молчания, от которых перехватывало дыхание так же, как от цикадно-зеленых поездов, трансформаторных будок и анкерных опор ЛЭП, просеивающих поземный туман и дальний свет фар. В душистой орнаментальной темноте, какая бывает накануне долгой зимы, за двухэтажными бараками, в сумрачных волнах зверобоя и крапивы белел, как яйцо на столике в ночном купе, покатым бок дороги, и по этой дороге шла, тяжело передвигая гудящие лиловые ноги, тетя Паша, иногда останавливаясь, чтобы переложить пакет из одной руки в другую или быстро выкурить под фонарем медную и мокрую, как раздавленный таракан, сигарету.

Десять лет назад у тети Паши пропала семилетняя дочь Рая — оттепельным февральским днем, возвращаясь из школы, буднично простилась с подругами у Дома культуры, и с тех пор ее никто не видел. Сначала местные жители, потом волонтеры и милиция перевернули Утренний вверх дном: обыскивались квартиры и дачи,

подвалы, гаражи, колодцы, собачьи будки; в марте из городского пруда, обложенного мотопомпами, выкачали воду, но не нашли даже детской варежки. Всех мужчин старше восемнадцати допросили при первом следователе, а при втором, присланном из столицы, всех подростков мужского пола от двенадцати до восемнадцати. Двое подозреваемых, школьный друг Зоиных отца и дальний родственник Дениса, стоявший на учете в ПНД и живший с мамой, тоже стоявшей на учете в ПНД, повесились, и расследование заглохло на десять долгих лет, в течение которых тетя Паша добивалась его возобновления всеми доступными ей способами. Зимой на круглую дату в газетах прошла волна укоризненных публикаций, и к лету в Утренний откомандировали третьего следователя, который, взяв неделю на ознакомление с делом, предложил еще раз осушить пруд. Администрация, занимавшая облепленное настурциями здание в стиле неоклассицизм, с колоннами цвета топленого молока, сначала отказала, но тетя Паша позвала телевизионщиков, и пруд не только осушили, но и впервые перекопали ил. В нем нашли строительный мусор, велосипедные покрышки, сломанные удочки, путевой домкрат и мешок с костями, оказавшимися собачьими — кто-то топил щенков. Зоя-младшая, по утрам приходившая к пруду рвать горец для птиц, с сожалением смотрела на сломанные водолазами мостки и затоптанный дербенник.

В то же лето Зоя-старшая, которая никогда особо не думала об этой истории, проснулась ночью от мысли, что единственным местом на многие километры вокруг, где Раю никогда не искали, была квартира тети Паши. До утра, пока канарейки не начали распеваться и драть, сотрясая пролетку, просунутые в решетку пучки одуванчиков и горца, она лежала на боку, вглядываясь в ГДРовский настенный ковер, в оборванные корни валежника с пыльной темнотой под ними и в такое же пыльное и плотное, лишённое цветковых переходов пятно, означавшее медведицу, но ужас прошел не до конца, и желание избавиться от его неисчезающего остатка, который Зоя-старшая носила в себе с той ночи — и она знала то же самое о второй Зое — гнало сестер на станцию Синие Углы, где их отец когда-то работал мастером железнодорожного полотна, а мать секретарем начальника участка производственного питания. Участок этот состоял из раздаточной столовой и двух буфетов, работавших по очереди.

Родители погибли в год исчезновения Раи, влетев на «жигуленке», который одалживали у папиной сестры, в бетонный отбойник утренней скоростной трассы. Считалось, что они ездили собирать чернику, но тетя, оформившая опеку над девочками, рассказывала другое. Якобы в последние месяцы перед смертью отец искал в окрестных лесах какое-то дерево, некогда спрятанное им же самим так искусно, что нельзя было ни забыть о существовании этого дерева, ни вспомнить, где оно находится. Можно было, как говорил отец, только знать, что нечто было спрятано, и методично обследовать древостой — простой, сложный и смешанный. «Переборщил с маскировкой», — виновато шутил он, в очередной раз выходя из подлеска к машине, где сидела мама с бутербродами в сумке и камвольной пряжей на коленях. Отец начал брать ее с собой на третий месяц поисков, вспомнив, что они полюбили друг друга до того, как он переборщил с маскировкой. Как позже догадались сестры, мать с ее мечтами о покое и синельной пряже была чем-то вроде неисчезающего остатка, к которому возвращаются из любого леса, не сумев заблудиться. По этой же причине она исчезла вместе с ним.

«Как думаешь, в тот день они его нашли?» — спросила Зоя-младшая, когда в ноябрьских утренних потемках они подходили к Синим Углам. В лиственничнике у поворота на станцию проступали очертания кирпичной водонапорной башни, похожей на выпавшую из шахматного набора гигантскую ладью, не понимающую, ходить ей или нет. С ней нужно было попрощаться отдельно. Зои особенно любили ее летом — когда васильковый от старости кирпич озарялся нашатырным холодом лиственниц, в башне селились аисты и гадюки; о простоте первых и мудрости вторых Денис сочинил партию для тромбона, которую невозможно было слушать. Зоя-старшая пожалала

плечами. Она шла и представляла, как канарейки беснуются в подвешенных к клеткам купалках, вымытых и очищенных от известкового налета и пропускающих голубое майское солнце — брызги долетают до подушки, Зоя-старшая, покрутившись и поморщившись, говорит с обожанием «достали» и, повернувшись к сестре, добавляет: «Или перепрятали».

— Дерево? — уточняет Зоя-младшая.

— Тело, — отвечает Зоя-старшая.

— Что? — говорит Зоя-младшая.

— Забей, — говорит Зоя-старшая. Она снимает рюкзак и садится на ступеньки пешеходного моста ждать в молочном свете щебенки электричку, которая никогда не придет, потому что последняя на свете электричка, следующая по маршруту «Утренний — Точка Невозврата — Вечерний» вышла из Синих Углов двенадцать часов назад, черным до сапфировой синевы ноябрьским утром, таким же, как этот вечер, и потому что людям, которые стали собой так давно, как это сделала Зоя, нужно только вспомнить момент, когда день и ночь поменялись местами — не сейчас, конечно, сейчас мы уже ничего не вспомним. Когда-нибудь потом.

Пустое дыхание

1

Сон, открывавшийся в любое время, как комната, чем-то вроде комнаты и был — дополнительным помещением в до треска реалистичной квартире (электрический треск воцарившегося вещества), в которой Rogozov с женой проживал, по ощущениям, уже около вечности. Проблемы начинались при попытке вернуться: всё валилось из рук, поскользнулся на мокрых досках, ронял ключи в траву и не находил, и начинал паниковать, и вместо ключей нащупывал то пузырек со снотворным, то седую мучнистую устрицу на тусклом блюде, то лоб в издевательски крупной испарине (брезгливо отдергивал руку: это я? это что, я в детстве?), то совсем какую-то гадость — сгусток волос и слизи, упругий, как каучуковый мячик, гипоталамус, выпуклую в неожиданных местах плоскоклеточную карциному; вытирал руку о штаны, прислонялся к забору и вдруг вынимал изо рта длинный, как градусник, ключ без резьбы, с тупым концом, и он подходил, подходил, и уклончивая ветка смородины, боднув напоследок дверь сарая, и сарай, и крапива в жирных солнечных кляксах, мешаясь с сердцебиением и птичьим щебетом, рывками смещались в горячий зернистый мрак, и постепенно оставалось только ровное дыхание, хрустально ясная схема тела, надменное, как перед расстрелом, лицо в зеркале над раковиной.

Выходить можно было по-всякому, не обязательно через сарай, это могло быть что угодно: кладбищенская калитка, на которую навалились с той стороны, со стороны тишины и звона, комя грушевых веток с крепкими, в резких латунных бликах, плодами, какая-то хижина в акациях (резались в дурака или раскладывали витиеватый, непонятно кем придуманный пасьянс, расчесывая в минуты сосредоточенного молчания лодыжки в комариных укусах), дверь в подвал, дверь гостевого домика с прислоненными к ней удочками, вообще любая дверь; пахнущий брусникой и бензином багажник дедушкиной «Нивы», сундук с задумчивой трещиной в лакированной крышке, музыкальная шкатулка с заедающим механизмом, тренькавшая натужно, со вздохами и перебоями, голубые и желтые параллелепипеды пчелиных ульев в жухлой, просвеченной солнцем траве под яблонями — все, что закрывалось, запиралось, задвигалось и защелкивалось в последний момент, оставляя

в пальцах пульсирующий абрис твердого предмета и нашатырную легкость в теле, было способом вернуться.

Жена сначала старалась не замечать этот бледный ветвящийся сон, относясь к нему как к ошибке восприятия или колкому подтексту поздравительного послания, на котором не стоит заикливаться — выспишься, и пройдет само; но ничего не проходило; она стала раздражаться, зарастать изнутри чугунным вопросительным молчанием, тяжелым, как олимпийская штанга, она стала швырять столовые приборы в раковину так, чтобы наделать побольше шума или что-нибудь разбить, тарелку или стакан; наконец, она стала курить, глядя сощурившись в окно и подолгу задерживая в легких волокнистый дым с химической цветочной отдушкой. Он посадил ее за стол, сел напротив и рассказал, как мог, пока не забыл, потому что он все время это забывал, про свое детство, про Викторину, про лягушачий заговор, про то, что, даже если допустить в недовоплощенных существах, блуждающих друг в друге, как в тумане, сливающихся в одну тенистую снежную душу, сразу начинавшую волноваться и дышать, и вдруг бессильно распадающуюся на скрипучие калейдоскопические многогранники — так вот, даже если допустить в этих нестойких существах тайное присутствие сумеречного веского бытия (на слове «бытие» она шумно выпустила дым и начала, вскинув брови, с ненавистью вминать бычок в пепельницу), или, ладно, хотя бы нагретой ямки в месте его многозначительного отсутствия, смерть физическая никого из нас не довоплотит («включи чайник», — сказала она рухнувшим голосом), а только поспособствует моему окончательному и, я тебя уверяю, совершенно триумфальному распаду на шум и блеск, огонь и воду в том сквозистом утреннем саду, чьим единственным живым обитателем и ныне, и присно, и во веки веков будет Виктория, пучеглазая сонная дылда с подгнившими васильками в белых пушащихся волосах, которая, если подумать, виновата лишь в том, что не хочет провести жизнь в дурдоме, и которая... ты хочешь знать, кто такая Виктория?

Она была сестрой кого-то из нас, кажется, двоюродной, в некоторых случаях троюродной или вообще приемной. Как мне в конце концов удалось выяснить, то ли из Севастополя, то ли из Симферополя, я эти названия всегда путал: и там, и там желтая с зеленцой «с», лимонница в капустных грядках, шершавая теплая «п» — ночная июньская вещь вроде фонаря или тополя, доверчивая, как теленок; стеклянная «о», и «л», как белая лайка и сугробы из советской книжки, вернее, не совсем белая, а такая, как сказать... Неважно, какая точно, потому что тон задают «с» и «п», получается облачный полдень, георгины в бушующих палисадниках, тропинки в крапиве, доски с вытарашенными гвоздями, шалаш и помойки в пологих оврагах. И никакого моря. Там рядом есть море? Хотя да, «о», округлая махина волны, что-то такое... Нет, «ф» в этой ситуации роли уже не играет, и нет, «ф» не фиолетовая, это вообще не так работает.

Никто из нас никогда ее не видел, мы только знали, что она целыми днями играет в саду, что на улицу ее не выпускают, так как то ли с ней, то ли с нами что-то немного не в порядке, скорее всего, конечно, с ней. Ее привозили на лето из этого самого Симфестополя, где бесновался черный солнечный шторм, но никто не просыпался, потому что пена на мраморе, листики с размахившимися краями, вспоротые прожилки, постаменты, георгиевские ленточки, колыхание ткани, открытки, сквозняки — от такого человек только еще глубже засыпает, и это совершенно естественно. А тем более ребенок. Она и здесь не просыпалась, я это понял сразу, как только ее увидел.

Но ты же говоришь, что ты ее не видел?

Да, но я имел в виду — физическим зрением, а так я сразу ее увидел: круглое лицо в расплывчатых веснушках, дымчатые глаза навывкате, светлый туман наэлектризованных волос, дынное тело сомнамбулы с рыхлым животом и, напротив, тугими голеньями в голубой сосудистой сетке. Но эта лунная слоновья анатомия на солнцепеке

дополнительной дивной физики — фосфорическое свечение кожи, волос, дыхания — истончалась, как подоженная береста, и уже не имела значения. Целыми днями она сидела в стеклянной ловушке немыслимой буквы «о», шевеля мокрыми пунцовыми губами, питаясь настурциями, брюквой и черной каменной водой, и никакой угрозы не представляла.

Неудивительно, что мы ее проворонили.

Я клянусь, что она не представляла никакой угрозы, а если вы сомневались, пошли бы и проверили сами, господа, какая уже разница, кто виноват, идиоты несчастные.

«Я просила тебя включить чайник», — несколько нараспев сказала жена, не отрывая взгляда от скатерти.

2

Наша кобальтово-синяя, с медным отливом река в желтых и белых кувшинках была глубока, угрюма и плодоносна, как языческая ночь. В полосах сияния, как в фотовспышках, стояли навсегда запечатленные камышовые заводы и поросший дубами и орешником остров, о котором мы знали, что у его погруженных в воду подножий, в темных извилинах корней лежит утопленник с открытыми глазами и не мигая смотрит на нас.

Для раколовок требовались лягушки, которых мы каждый вечер лупили палками в зеленых, как яблоки, комьях осоки. Мокрый бурелом искрил будто неисправная проводка, где-то мычала обожравшаяся росы и сена корова, бились о щеки комары и нестерпимо, как во сне, чесалась выемка между ладьевидной и пяточной костью. С мертвых лягушек сдирали кожу, обжигали мускулистые, с длинными жемчужными мышцами трупки на костре и прикручивали к сетке раколовок, инкрустированной живыми судорожными каплями речной воды в форме усеченных сфер, напоминавших улиток на виноградном листе.

Обжигали на костре? Да, это вообще ключевой момент. Я так понимаю, контакт с огнем — ей это было принципиально, ради этого вообще все затевалось. Честно говоря, довольно умно.

— А знаешь, что еще умно? — спросил бубнящий голос, такой, словно говорили в пустую банку из-под огурцов.

— Аисты? — почему-то ответил Rogozov. Он понятия не имел, при чем тут аисты.

— Самоубийство, — спокойно поправил голос.

— Я тебя не слушаю.

— Зря. Идея отличная. Лучше, чем все предыдущие.

Сигарет нигде не было, хотя он точно помнил, что оставались две почти полные пачки: вторую он купил утром, когда не смог найти первую, купленную вечером. Беглый осмотр висящей в коридоре одежды ничего не дал: фантики, скомканые чеки, зарядка от телефона. На кухне, пока он отходил от скандала, жена навела чистоту — видимо, на прощанье. Оставалась, собственно, спальня, но сил на вдумчивый поиск не было никаких.

— Почему? — брезгливо спросил Rogozov и сел на край перебуравленной кровати. В одеяле не было тоже.

— Потому что кое-кто виноват, — пояснил голос и выжидательно замер.

— В чем?

— Во всем.

— Конкретно.

— Эскалация ближневосточного конфликта, ужесточение трудового режима в концлагерях Почефструме, Йоханнесбурга; невыделение средств из федерального бюджета на хозяйственные нужды детских садов Воронежа...

— Средства были выделены, в Воронеже точно были выделены средства, — Рогозов встал, включил большой свет и начал расчищать стол от скопившегося хлама. Пока он громадными, налитыми чугуной огородной водой руками перекладывал с места на место засохшие кисти, папки с чертежами и художественные альбомы в порванных суперобложках (вместо сигарет под альбомами обнаружались смазанные прямоугольники пыли), собеседник солидарно молчал, но, как только Рогозов опустился в кресло, парировал: «Если бы в Воронеже средства были выделены, мы бы с тобой сейчас не разговаривали». Рогозов взял карандаш и застучал тупым концом по столу.

— А мы и не разговариваем. Я не разговариваю с бесами.

— Никаких бесов здесь нет.

— Я знаю, что нет.

— Кроме одного маленького беса.

— Легко навешивать ярлыки.

— Йоханнесбург, 14284 ребенка.

Он знал, что у съехавшего режима (так съезжает с груды книг в скользких суперобложках самая верхняя книга, с омерзительным ускорением устремляясь в труднодоступную щель между креслом и батареей) есть точка невозврата: на последнем витке нехорошей метаморфозы, когда день с ночью после серии шуточных подходов окончательно меняются местами, как добро и зло в голове у помешанного, не поможет уже ни снотворное, ни аптечные травы, ни манипуляции с силой воли; вошедшая в штопор психика, сверкая алюминиевыми подкрылками, вращается в серебрищемся потоке воздуха и света, и, как земля, приближается апрель — слепящие пространства в слюдяном блеске, посудный звон пробки на Тверской, кристаллы теплого серого льда, сложенные кем-то в сиротливые горстки на гранитных парапетах в знак виноватой признательности непонятно за что. Все, что остается в этой ситуации — зажмуриться и ждать развязки.

Он вдруг понял, что стоит на кухне перед плитой, зажав кнопку поджига указательным пальцем, и равнодушно смотрит на ужимки дрыгающегося на сквозняке огня. Закрыл окно, потом почему-то присел на корточки и вытащил из-под стола накрытую полотенцем коробку с пустыми банками. Взял первую попавшуюся, из-под маринованных помидоров, с торжественным уведомлением «Сделано в Беларуси!» на красно-зеленой этикетке. Вот так, с восклицательным знаком. Поставил на пол перед собой, побарабанил пальцами по крышке, как бы на что-то решаясь.

— Детские сады в Воронеже — с чего ты взял, что не были выделены средства? Они были выделены. Все дети были счастливы, — Рогозов старался говорить обстоятельно и немного нехотя, как хорошо подготовившийся чиновник.

— Прямо все? — тут же вцепился голос.

— Большинство были, — он доставал из коробки и выстраивал в ряд между ножками стола осклизлые банки с такими толстыми стенками, что стекло в глубине сгушалось до черноты, как патока.

— А меньшинство?

— Я не знаю. Может, какие-то и не были. Это нормальная статистика. Некоторых из них вообще уже нет... Детей уводят с детских площадок, регулярно. Знаешь, куда?

— Нет. Но ты знаешь.

— Это все знают.

— А ты знаешь лучше всех.

— Это я их увожу, что ли?

— А кто же? Здесь больше никого нет.

— Где больше никого нет?

— Только ты и дети.

— Ты когда-нибудь заткнешься? Вообще, в перспективе?

Он вытер руки о штаны, поднялся, привалился к холодильнику, чтобы переждать головокружение. В окне блистала страшная, как крышка рояля, январская ночь, и где-то во дворах истерично звякала болонка.

— «Нормальная статистика». 14284 ребенка — тоже нормальная статистика? — голос стал глухим и доносился теперь как будто из-под стола, куда Rogozov задвинул пустую коробку, с силой вдавив внутрь створки в змеящихся изломах (прошла по душе судорога узнавания и за ней короткий быстрый ужас, шершень остановился над лоснистым цветком шиповника с размокшей сердцевинкой и после некоторых раздумий торжественно, как трамвай, взял вправо).

— Почему мы берем Йоханнесбург? Почему не Намибию? Бухенвальд? Освенцим?

— Тебе хорошо известны эти названия, да?

— Они всем хорошо известны.

— А тебе лучше всех.

Отпираться дальше было бессмысленно; невероятно хотелось курить. Rogozov попил из-под крана, постоял, глядя на себя в зеркало.

— В Воронеже было все нормально.

— Не ври.

Выдохнул, сел на стул, электрической рукой взъерошил волосы. Голова была мокрая и еле теплая, как погибающая птица.

— Смотри, ты же специально передергиваешь. Не может быть всегда все гладко. Не бывает абсолютно счастливых детей. Бюджет не резиновый, что могли — мы сделали. Мы не в идеальном мире.

— Пока ты здесь — это точно.

Через рот в него пропихивали фанерный лист размером с баскетбольную площадку — и слезились глаза, и коченели ноги, и где-то далеко, на другом конце земли, как собака в колоде, бултыхалось сердце. Ежась, притянул колени к подбородку, и из штанов на сидущку стула выпала золотистая пачка. Курить можно в раковину, он будет курить в раковину, но где зажигалка? Нельзя возвращаться в комнату — там, за столом, спиной к нему, сидит в налипшей рубашке, в рыбацких сапогах... Куда мне пойти, чтобы не встретить тебя? От плиты, от плиты, господи, слава богу. Хоть за это спасибо. Какая черная ночь, но успокоиться нужно немедленно.

— Йоханнесбург — за него вообще другие отвечали, если тебе интересно, — он говорил теперь вслух, голос был как избитая псина.

— С этими тоже разберемся.

— Я верну часть детей.

— Каких детей?

— Тех, что увели с детских площадок, — споткнулся о банки, пробираясь к плите за огнем.

— Вот как мы заговорили.

Он издевается, он просто издевается. Но что же делать. Тот, другой, сидит за столом, и лужа натекла под ним. Или уже стоит в коридоре, и мне не выйти отсюда: я умру, как только его увижу. Или сидит на унитазе, опустив облепленную илом голову; я включу свет, и он поднимет к лампочке свое чудовищное лицо.

— Мне бы очень хотелось вернуть всех, но получится только часть, и я сразу предупреждаю, что там может быть такая ситуация, что у Вани, например, будет Петина нога, а у Пети — Машина голова. Ну, ты понимаешь, — Rogozov перешел на лязгающий лай: — Скорее всего, на это уже никак нельзя повлиять, но если можно, я сделаю все, что в моих силах. Я выясню, можно или нет.

Голос помолчал с минуту, а когда заговорил снова, стало ясно, что он сменил банку на ту, что сварена из верхних пластов холодного, как какая-то страшная плоскость, песка заунывной осенней реки и мельтешащего снега — то есть, что надежды нет никакой.

— Ты знаешь, я уже выяснял, — сказал этот северный прибрежный голос. — Ничего нельзя сделать, и вернуть никого тоже нельзя. Ни Машу, ни Петю, ни с головами, ни без голов. Не обманывай себя.

— Не может быть.

— Может.

— Никого нельзя вернуть?

— Никого.

— Какая-то просто невыносимая мысль.

Снова смотрел на припадочную астру огня — окно пришлось открыть, чтобы выветривался дым. Оборачиваться было нельзя, потому что тот уже стоял в дверях, обдавая кухню погребным холодом.

— А ты кто?

— А ты?

— Не знаю. Меня как будто нет. Мы ходили за лягушками, и...

— Ну и дальше бы ходили.

— Я не убивал детей.

— Убивал. Сам знаешь.

— Знаю.

— Психотический эпизод с идеями виновности. Я тебя поздравляю.

— Я не хочу в психушку, — быстро прошептал Rogozov, который сразу увидел всё: ухающую вверх-вниз косматую тень ветки на желтой стене, янтарный линолеум в черных потертых ромбах, стеллажи с медкартами, напоминающие отбуксированный на запасные пути поезд с фатальной, никому не ясной неполадкой. Мутные холмики алое в издевательском свечении дня. Голос сказал: «Она тоже не хочет».

— Кто — она?

— Виктория, твоя сестра.

— Она сумасшедшая?

— Она не сумасшедшая, а вот ты — да. Столько смертей.

— А она что?..

— Слушай сюда. Тебя зовут Илья, тебе десять лет, и ты из Питера. За лягушками надо ходить каждый день, иначе — всё. Понял?

— Понял. Я не знал, что она моя сестра.

3

Никто не знал, чья именно она сестра, и где этот чертов сад. В понедельник мы понимали, что она сестра Наташи Осокиной, которая вообще-то была моей соседкой: наши участки разделяли заросли смородины и кряжистые сливовые деревья, под которыми слиплись в текучий ком осиные трупики и лиловые каспулы слив с горячей пряной начинкой. Бабушка Наташи, молодая пенсионерка со смолистым пучком на голове (Нина Васильевна? Василиса Леонидовна? Елена Виленовна?), не расстававшаяся с белой пластиковой лейкой, засадила весь участок пионами, которые на топливе из рыбьих пузырей, козьего молока и крысиного яда вымахали под два метра, образовав идеальное укрытие для Виктории. Она возится с куклами в витражной тени пионов, думали мы, там, где в слоистом облаке листьев громоздились друг на друга твердые ажурные шары: канареечно-желтые, карминные, кремовые; по рыхлой земле, по коленкам, по натянутому влажному ситцу, как по стенкам калейдоскопа, плыли дремотные рубиновые блики. Или, может быть, она сидит в гостевом домике, окруженном кучными созвездиями черемши и бархатистыми зонтиками укропа, сквозь которые проходят одна за одной содрогающиеся волны зноя, ест чернику с молоком из алюминиевой миски и листает советскую книжку про полярников, скользя по строчкам кошачьими сонными глазами.

Вторник мы проживали в спокойной уверенности, что Виктория — пятая сестра Леша Морощкина, причем об этой версии Виктории мы знали больше всего: между вторым и третьим ребенком Лешин отец сошелся с любовницей, а когда вернулся в семью, к беременной четвертой девочкой жене Ангелине, родилась большая насупленная Виктория с диатезными пятнами на щеках (здесь какой-то сбой во времени, в котором так никто никогда и не разобрался), и сразу никому не понравилась, кроме блескучей, как паутинка, бабушки Елизаветы в конусообразном дермантиновом плаще, из которого торчали снежно-розовые запястья и фарфоровые косточки ног, обутых в огромные стоптанные башмаки. Проблемы, якобы, начались сразу: плохо спала, не брала грудь, никого не узнавала; позже наотрез отказывалась общаться с другими детьми, а если пытались заставить, запиралась в кладовке и швыряла в дверь банки с маринадами, рыдая и задумчиво колупая в перерывах между рыданиями болячку на коленке. Бабушка Елизавета стояла под дверью, стучая в нее кулачком и что-то нашептывая. Врач с холодными, как подснежники, руками долго, невыносимо долго разувался в прихожей и потом так же долго обувался. Если Наташа о сестре не вспоминала вообще, Лёша помнил о ней все время (весь светящийся, как отмель на солнцепеке, хлорофиллово-зеленый вторник), но пресекал любые разговоры на эту тему.

В среду, подобострастную, как пойманная лиса, Виктория была моей сестрой, и я знал, что она сидит в малиннике за баней и сквозь початки рогоза, облепленного паутиной и стрекозами, смотрит на снующих в синеве водомерок. В четверг она становилась сестрой Игоря, а в пятницу — твоей. Суббота — банный день. Воскресенье — день несостоявшихся самоубийств. В понедельник все начиналось сначала.

4

А действительно, при чем тут аисты? Аисты, «один из символов Беларуси», долгими продувными днями, предвещавшими осень, которая никогда не наступит, стояли, как свечи, в темных полях за деревней; над полями громоздились бурые, с фиалковой изнанкой тучи, и было ясно, что хлынет дождь, а утром в смородиновых кустах встанут цветные спектральные лучи, и занавеска накалится на солнце — в комнате запахнет утюгом и пылью — и по холодной и гладкой, как картофелина, земле сада мы пойдем к рукомойнику под сливами, многократно отраженному в зеркалах сырой травы.

Аисты глотали студенистых, в налипших травинках, лягушек, вот при чем тут аисты. Конечно, до ритуала с огнем не доходило, но не сочти это за недоработку: аисты (и, между прочим, выдры; выдра, которую я долго принимал за кошку, бегала к нам на участок, на помойку под старой черемухой, разбитой грозой и с тех пор переставшей плодоносить привычным способом, а вместо этого непрерывно выпускавшей из точки раскола столб слизистых черных молекул; а чем, как ты думаешь, питаются выдры?), хоть и были лишь заметками на полях, обедками ее фантазмагоричной мысли, все-таки свидетельствовали о полноте, даже избыточности замысла. Избыточности, моя милая, а не отсутствию.

Я говорил, что она поступила умно: всё — деревня с рекой и тополиной аллеей, рывками, как ртуть, скатывающиеся с валунов ящерицы, песчаные карьеры с горящими на солнце озерами, на дне которых в чересчур прозрачной даже для рая воде лежали вогнутые тени сосен, проселочная дорога в сизых вмятинах и напоминающих телевизионные помехи наплывах свечения с полей, раскаты иван-чая, не достающие до березняка на пригорке — всё, я повторяю, держалось на нехитром ритуале с лягушками, соучастниками которого она нас сделала, заселив реку раками и вложив в наши руки бересту и спички. Получился перпетуум мобиле, самовоспроизводящаяся

программа, фантазия, генерирующая сама себя — идеальное убежище для тех, кто не при каких обстоятельствах не собирается покидать кладовку. Я нашел в своем блокноте записанное в столбик: «лимнада миланда милдана марфа мара марта», потому что во дни озарений, по воскресеньям, обложившись энциклопедиями, пытался вычислить ее имя.

5

Рогозов много раз брался за такой текст, который стал бы чем-то средним между провинностью и объяснительной, но быстро застревал в нем с пересохшим ртом и нарастающим сердцебиением, как если бы блуждал в лесу, по крайней мере частично составленному из тех наиболее удачно спрятанных деревьев, которые не найдет уже никто, включая самого прятавшего, все больше догадываясь, что он и есть Сам Прятавший, то есть тот, кто трогает шершавую поверхность ночной доверчивой вещи и оступается в мокрой крапиве и вдруг с клоунской ужимкой вынимает изо рта совершенно сухой ключ, и все хочет и не может заплакать. Кроме того, с годами он все яснее ощущал, что в языке в буквальном смысле не хватает слов — также как в легких не хватает воздуха на большой высоте. По всей видимости, — рассуждал он — язык оснащен защитным механизмом, обеспечивающим соскальзывание, пустое прокручивание там, где между человеком и истиной критически сокращается дистанция. Действительно, на последних секундах сближения начиналось какое-то проваливание, пьяное шатание, вихляние души, не хватало воздуха, одного точного, как поворот ключа, слова; «возникает феномен “пустого дыхания”, когда сказано почти то, но никогда не то самое, и ясно, что то самое сказать никогда нельзя, а сказанное *почти то* лишь ссылка на несказанное, доказательство присутствия, тень на стене, тень ветки на летней воробьиной стене», — вот такие записи он находил в своих бумагах, когда, содрогаясь от усталости, с палкой в руке, стоял по колено в тумане и пытался отдышаться. В сапоги набиралась вода.

«И если воплощение мне не светит, — писал Рогозов, теперь это была заметка в телефоне, — если чудовищное усилие дорваться до самого себя — так какой-нибудь зверь пытается допрыгнуть до слишком высоко подвешенной приманки — совершалось напрасно, если я навсегда оставлен с той стороны вещей, со стороны тишины и звона, если я не выбыл из мира, как ей, наверное, казалось в той фазе отчаяния, когда оно еще предприимчиво (все эти разговоры про врачей и так далее), а просто не присутствовал в нем изначально, если, понимая это в конце концов, она смотрит на меня с брезгливым сожалением, потому что знает, что когда-нибудь я спокойно забуду ее и себя, как послеобеденный сон; если все это так, то будь по-твоему, маленькая жирная ведьма. *Подавись своими раками*». Последняя фраза была напечатана курсивом — он долго возился с настройками документа, мокрый палец скользил по экрану, но в итоге удалось.

Дописав и бросив телефон в одеяло, Рогозов выбрался из кровати, покружился на месте, оступаясь в прохладных струях психоза, остановился, отдышался, шагнул в ослепительный щебет и наконец-то заплакал.